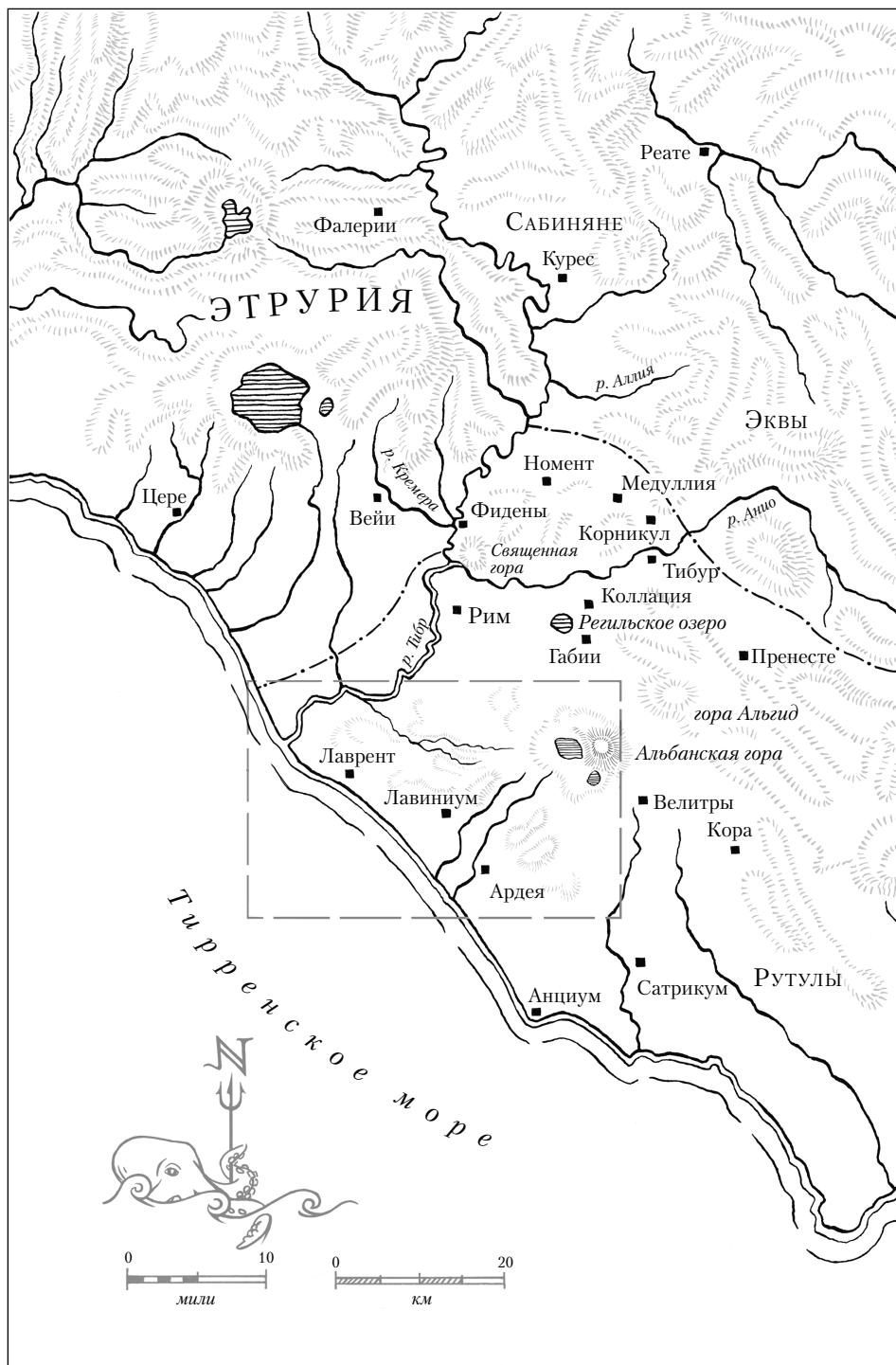
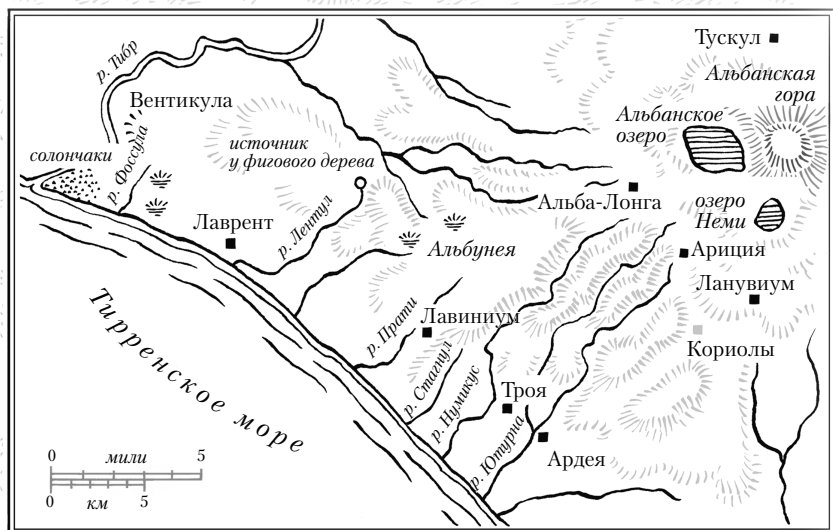


sola domum et tantas servabat filia sedes,
iam matura viro, iam plenis nubilis annis.
multi illam magno e Latio totaque petebant
Ausonia...

Единственная дочь его, созревшая
для мужа и брачных лет достигшая,
хозяйничала во дворце высоком.
И в Лации*, да и всей Авзонии*
просторной немало женихов
ее руки искали...¹

¹ Перевод И. Тогоевой.





Мне шел девятнадцатый год, когда майским днем я отправилась к устью нашей великой реки за солью для приготовления священной пищи. Я взяла с собой только Титу и Маруну, но отец мой отправил с нами еще и старого домашнего раба, а также мальчика-погонщика с осликом, чтобы отвезти соль домой. До солончаков от нашего дома всего несколько миль, но мы превратили эту прогулку в настоящее маленькое путешествие: нагрузили бедного ослика провизией, шли не торопясь и добрались туда лишь к вечеру, а потом устроили роскошное пиршество на вершине поросшей травой дюны. Оттуда были хорошо видны и море, и песчаные отмели в устье реки. Мы разожгли костер и впятером славно поужинали у огня, а потом еще долго рассказывали всякие истории и пели песни, пока солнце не село за море и легкие майские сумерки не начали сгущаться, становясь темно-синими. Лишь с наступлением темноты мы наконец утомились и легли спать, овеваемые свежим морским ветерком.

С первыми проблесками рассвета я проснулась. Все остальные еще крепко спали, да и птицы только-только начинали свою утреннюю спевку. Я встала, спустилась к устью реки и, зачерпнув ладонями воду, позволила ей пролиться обратно. Так я принесла жертву богам, прежде чем сама утолила жажду, повторяя то имя великой реки, каким называем его мы — Тибр, Отец Тибр, — а также другие его старинные, тайные имена: Альбу, Румон. Я вволю напилась речной воды, наслаждаясь ее приятным, чуть солоноватым вкусом. Уже совсем рассвело, и мне были хорошо видны длинные, словно застывшие волны у отмели, где течение реки встречалось с морским приливом.

А чуть дальше в утренней дымке, висевшей над морем, я увидела корабли — целую флотилию; большие черные суда эти явно приплыли с юга и направлялись прямо к устью реки. По обоим бортам каждого мерно, точно крылья огромных птиц, вздымались и опускались весла.

Один за другим корабли, разрезая грудью длинные волны и плавно покачиваясь на них, вошли в реку. Их изогнутые носы и тройные тараны были бронзовыми. Я, стараясь стать незаметней, присела на корточки у воды, и ноги мои утонули в солоноватом прибрежном иле. Первый корабль вошел в реку и проплыл мимо, темной громадой возвышаясь надо мною и по-прежнему размеренно двигаясь под аккомпанемент тяжких негромких всплесков весел по воде. Лица гребцов скрывались в тени, но на высокой корме я заметила какого-то человека, силуэт которого четко выделялся на фоне светлого утреннего неба.

Он смотрел вперед, и лицо его, освещенное первыми лучами зари, показалось мне суровым и одновременно каким-то незащищенным. По-моему, он молился. И я сразу поняла, кто это.

К тому времени, когда мимо меня проплыл последний корабль, сопровождаемый мерным и негромким шелестом весел, и исчез среди густых лесов, что растут в изобилии на обоих берегах реки, птицы уже пели повсюду, а небо над восточными холмами полыхало яркими красками. Я вернулась в наш лагерь, но там все по-прежнему спали; никто, кроме меня, так и не видел тех кораблей, что проплыли вверх по реке. Ну и я не стала им ничего рассказывать. Мы спустились к солончакам и накопили столько грязной, серой, смешанной с землей соли, что ее должно было хватить на год; потом погрузили корзины с солью на нашего ослика и двинулись в обратный путь. Но уж теперь я только и делала, что всех подгоняла, хотя мои спутники пытались жаловаться и тянуть время, и благодаря моим усилиям мы вернулись домой задолго до полудня.

Я прямиком прошла в царские покои и сказала отцу:

— Царь, на рассвете в устье Тибра вошла целая флотилия военных кораблей. Они поплыли дальше, вверх по течению.

Он посмотрел на меня, и лицо его стало печальным.

— Так скоро... — только и промолвил он в ответ.

Я знаю, кем я была; я могу рассказать, кем я могла бы стать; но сейчас я существую только благодаря тому, что пишу эти слова. Я, правда, не совсем понимаю, как же это происходит, и до сих пор нахожу весьма странным то, что, оказываясь, умею писать. Разумеется, латинский язык я знаю и говорю на нем, но разве меня когда-либо учили писать на этом языке? Что-то не похоже. Несомненно, некогда действительно существовала женщина, носившая мое имя — Лавиния, но она, скорее всего, весьма сильно отличалась не только от того, как я сама себя представляю, но и от того, какой меня представлял себе мой поэт, так что я стараюсь не думать о ней: эти мысли только сбивают меня с толку. Насколько я понимаю, именно мой поэт и придал моему образу некую реальность. До того как он сочинил свою поэму, я была одной из самых неясных фигур прошлого, всего лишь точкой, одним из имен на огромном генеалогическом древе. Именно он подарил мне жизнь, подарил самоощущение, тем самым сделав меня способной помнить прожитую мною жизнь, себя в этой жизни, способной рассказать обо всем живо и эмоционально, изливая в словах все те разнообразные чувства, что вскипают в моей душе при каждом новом воспоминании, поскольку все эти события, похоже, и обретают истинную жизнь, только когда мы их описываем — я или мой поэт.

Впрочем, события моей жизни он не описывал. Мною и моей жизнью он, в общем-то, пренебрег. Он так мало места уделил мне в своей поэме, потому что лишь на пороге смерти узнал, кто я и какая я. Разве можно винить его за это? Нет, конечно. Было уже слишком поздно что-то исправлять,

додумывать и переосмысливать, слишком поздно что-то дописывать, пытаюсь усовершенствовать ту поэму, которую он сам считал далеко не совершенной. Я знаю: это его весьма огорчало. И из-за меня он тоже печалился. Но, может быть, там, где он сейчас, в том подземном мире, за темными реками, кто-нибудь все же скажет ему, что и Лавиния печалится и тоскует без него.

Я никогда не умру. Уж в этом-то я совершенно уверена. Моя жизнь слишком условна, чтобы привести к чему-то столь безусловному, как смерть. Я не обладаю, если можно так выразиться, достаточной смертностью. Не приходится сомневаться, и мой образ когда-нибудь поблекнет и канет в забвение, что со мной должно было бы произойти уже давным-давно, если бы мой поэт некогда не вызвал меня к жизни. Возможно, я стану обманчивым сном, который, подобно летучей мыши, цепляется за ветви, прячась в густой листве того древа, что растет у врат нижнего мира*, или же превращусь в сову*, бесшумно скользящую среди темных дубов Альбунеи. Но мне не придется с болью отрывать себя от жизни и тенью спускаться во тьму подземного царства, как это было с ним, беднягой, — сперва в воображении, а потом и в реальной действительности. Он мне сказал однажды, что каждому из нас выпадает своя жизнь после смерти и приходится как-то ее терпеть; во всяком случае, я именно так поняла его слова. Но та бесцельная, пустая трата времени, пока ты скитаешься там, в нижнем мире, ожидая, что либо тебя забудут, либо ты все же возродишься, — это все же не жизнь; это жалкое прозябание, даже и вполнину не похожее на то, какой настоящей, реально существующей чувствую себя я, когда пишу эти строки, а вы их читаете. И уж наверняка оно ничуть не похоже на ту яркую, насыщенную жизнь, какой она предстает в словах моего поэта, в его прекрасных живых словах, которые столько веков дарят мне возможность жить.

И все же моя роль и моя жизнь в его поэме столь не-приметны и скучны, если не считать того знамения, когда

у меня вспыхивают волосы, настолько бесцветны и настолько условны, что я просто не в силах это терпеть. Если уж я вынуждена век за веком продолжать столь жалкое существование, то уж хотя бы один-то раз я могу позволить себе высказаться! Ведь он же не позволил мне ни слова сказать! Вот мне и приходится брать инициативу в свои руки. Мой поэт дал мне долгую жизнь, но уж больно тесную. А мне необходим простор, мне необходим воздух. Душа моя стремится в древние леса моей Италии, на ее залитые солнцем холмы, где дуют ветра и кружат в вышине белый лебедь и правдивый ворон. Мать моя была безумна, но я-то разум не утратила. Отец мой был стар, но я-то была молода. Подобно Елене Спартанской, я стала причиной войны. Она вызвала войну тем, что позволяла домогавшимся ее мужчинам похищать и увозить ее. Я же вызвала войну тем, что не хотела, чтобы меня выдавали замуж, чтобы меня куда-то увозили; я желала сама выбрать себе и мужа, и судьбу. Выбранный мною мужчина был знаменит, но судьба окутана мраком; что ж, как говорится, так на так.

Но порою мне кажется, что я все-таки, должно быть, давным-давно умерла и рассказываю эту историю, находясь в некой неизвестной нам части подземного мира; это такое обманчивое место, где нам представляется, будто мы еще живы, способны думать, стареть и вспоминать о том, что с нами происходило в молодости, — как я, например, помню о том, как на лавр у нас во дворе сел огромный рой пчел, как волосы мои вспыхнули огнем, знаменуя приход троянцев. И потом, разве это возможно, чтобы все мы были способны друг с другом разговаривать и понимать друг друга? Я хорошо помню, как те чужеземцы, прибыв с другого конца земли, поднялись вверх по Тибру и оказались в стране, о которой ровным счетом ничего не знали. Но тем не менее их посланник явился в дом моего отца, сказал, что он троянец, и весьма вежливо и пространно изъяснялся на прекрасном латинском языке. Так как же это могло быть? Неужели любой из нас может говорить на всех языках мира? Нет, это может быть правдой

только в царстве мертвых, которое, не зная границ, простирается подо всеми прочими странами, землями и морями. И как, интересно, вы умудряетесь понимать меня, жившую веков двадцать пять или даже тридцать назад? Неужели вы знаете латинский язык?

Но потом мне в голову приходит совсем другая мысль: нет, думаю я, все это никак не связано с пребыванием в стране мертвых, и вовсе не смерть позволяет нам понимать друг друга, а поэзия.

Если бы вы познакомились со мной, когда я девушкой жила в отчем доме, вы бы наверняка решили, что того невнятного наброска, точно сделанного моим поэтом медной булавкой на восковой табличке, более чем достаточно: самая обыкновенная девушка, хоть и царская дочь; девственница, достигшая брачного возраста; целомудренная, молчаливая и послушная; готовая покориться воле будущего мужа, как поле весной готово принять в свою землю плуг.

Я никогда не пахала землю, но мне не раз доводилось видеть, как это делают наши крестьяне: белый вол в ярме, бредущий по борозде; мужчина, крепко сжимающий длинные деревянные ручки плуга, которые так и норовят вырваться у него из рук, когда он с силой налегает на них; лемех, выворачивающий наизнанку пласты земли, которая только кажется такой покорной и на все готовой, а на самом деле упряма, своенравна и закрыта для всех. Пахарь изо всех сил, используя и свой вес, и силу своих мускулов, старается сделать борозду как можно глубже, чтобы она не только приняла, но и удержала в себе ячменное семя. Он трудится в поте лица, пока не начнет задыхаться и дрожать от усталости, пока ему не захочется лечь прямо в борозду и уснуть на жесткой, каменистой груди суровой матери-земли. Мне никогда не нужно было пахать землю, но моя мать, как и эта земля, тоже была суровой и жесткой. Земля, в конце концов, все же принимает пахаря

в свои объятия, позволяя ему уснуть куда более крепким сном, чем сон ячменного зерна, а вот моя мать никогда меня не обнимала.

Я была молчалива и покорна: ведь если б я заговорила, если б проявила собственную волю, мать тут же припомнила бы мне, что я — это совсем не то, что мои братья, и мне пришлось бы жестоко поплатиться за свою несдержанность. Мне было шесть, когда они умерли, маленький Латин и совсем крохотный Лавренс. Я их очень любила, я играла с ними, как с куклами. Я просто обожала их. И когда мы играли, моя мать Амата смотрела на нас с улыбкой, а веретено так и подпрыгивало у нее в руках. Она не поручала нас заботам ни нашей няньки Вестины, ни других служанок, как, скорее всего, поступила бы любая другая царица. Она весь день проводила с нами, потому что очень нас любила. Она часто пела нам, пока мы играли. А иногда вдруг переставала пряхть, вскакивала, брала за руки меня и Латина и принималась с нами танцевать, и нам было так весело, мы так дружно смеялись... «Мои воины», — называла она моих братьев, и я считала, что это относится и ко мне — уж больно она радовалась, произнося эти слова, и эта радость, разумеется, передавалась и нам.

А потом мы заболели: сперва самый младший из нас, Лавренс, затем Латин, круглолицый, ушастый и ясноглазый, а потом и я. Я помню, у меня был сильный жар и мне снились очень странные сны. Мой дедушка дятел* прилетал ко мне и своим сильным клювом долбил мне голову, и я громко кричала от боли. Примерно через месяц я начала понемногу поправляться, а потом и совсем поправилась; но у мальчиков жар не спадал, точнее, он спадал, а потом снова возвращался, спадал и возвращался. Это их совсем измотало; они страшно исхудали, от них прямо-таки ничего не осталось. Потом вдруг показалось, что оба пошли на поправку; Лавренс снова стал хорошо сосать грудь, а Латин даже несколько раз вылезал из кровати, чтобы поиграть со мной. Но лихорадка каждый раз возвращалась с новой силой. Однажды днем у Латина начались

судороги; эта лихорадка ведь как собака: поймает крысу и трясет ее, пока совсем не удушит; вот и нашего Латина лихорадка тоже замучила до смерти, нашего маленького царевича, наследника престола, надежду Лация и моего дорогого друга, моего любимого братика. А ночью наш маленький, измученный недугом Лавренс наконец-то уснул спокойно, и жар у него вроде бы спал; утром же, на рассвете, он умер — у меня на руках. Один только раз судорожно вздохнул, вздрогнул, как котенок, и затих. И моя мать с горя утратила разум.

А мой отец так никогда и не понял, что она безумна.

Он очень горевал, когда умерли наши мальчики. Он вообще был человеком чувствительным и добрым, а в сыновьях, как и всякий мужчина, видел прежде всего своих наследников. Он горько оплакивал их; сперва открыто, потом — очень долго, много лет, — про себя. Но у него все же была отдушина — у царя множество обязанностей; ему нужно править страной, совершать всевозможные обряды и ритуалы. Он обретал утешение в постоянном повторении этих обрядов, и древние духи нашего дома и нашей семьи давали ему необходимую поддержку. И я тоже служила ему утешением. К тому же я помогала ему отправлять обряды, как и подобает царской дочери. И он очень любил меня; ведь я была его первым ребенком, и ребенком очень поздним: мой отец был намного старше матери.

Ей было восемнадцать, когда они поженились, а ему — сорок. Она была дочерью царя рутулов, родом из Ардеи, а мой отец уже правил всем Лацием. Она была юной, пылкой и очень красивой; а он, мужчина во цвете лет, весьма привлекательный и сильный, доблестный воин, одержавший немало побед, но более всего любивший мир и покой. Их союз мог бы стать просто прекрасным.

Отец не винил ее в смерти мальчиков. И меня он не винил за то, что я не умерла вместе с ними. Он принял эту тяжкую утрату и все свои надежды — точнее, то, что от них осталось, — возложил на меня. С каждым годом он все больше мрачнел, все больше седел, но всегда был добр и ни в чем не проявлял

слабости. Кроме одного: он позволял моей матери делать все, что ей заблагорассудится, и молча отводил глаза, если она что-то делала ему назло или произносила свои дикие, безумные речи.

Ужасное горе Аматы не находило отклика в душах близких ей людей. Она оказалась в обществе мужа, который не мог ни услышать ее, ни поговорить с нею, шестилетней дочери-плаксы и целого выводка жалких перепуганных слуганок, которые панически боялись, как, наверное, способны бояться только рабыни, что их могут наказать за смерть царских сыновей.

Для мужа у нее осталось только презрение; для меня — бешеный гнев.

Я могу вспомнить и пересчитать по пальцам все те случаи, когда после смерти моих братьев мне довелось коснуться руки матери или ее тела или когда она сама случайно прикасалась ко мне. И она больше ни разу не легла в ту постель, где они с отцом зачали нас, своих детей.

Много дней Амата, точно в заточении, провела в своей комнате, а когда наконец снова вышла оттуда, внешне, казалось, осталась почти прежней — была, как и раньше, очень хороша собой: с блестящими черными волосами, сливочно-белым лицом и гордой осанкой. В обществе других людей она всегда вела себя весьма сдержанно, даже чуть надменно; она играла роль царицы, окруженной подданными, и меня всегда удивляло, как сильно ее манера поведения в обществе чужих людей, которых всегда было полно во дворце, отличалась от того, как она вела себя с нами, родными, когда она, прядя шерсть, пела нам, когда она смеялась и танцевала вместе с нами. С домашними слугами мать держалась властно, разговаривала повелительным тоном, легко могла вспылить, но слуги все равно очень ее любили, потому что она никогда не была ни злобной, ни подлой. Теперь же она почти всегда была холодна и с ними, и с нами, как-то чересчур спокойна. Но стоило мне или отцу раскрыть рот, я замечала, как лицо

матери искажалось гримасой отвращения, отчаянной презрительной ярости, прежде чем она успевала отвести глаза в сторону и взять себя в руки.

Теперь она носила на шее буллы своих сыновей, маленькие золотые футлярчики, в которых хранились крошечные глиняные фаллосы, — такие защитные амулеты носят мальчики, чтобы им сопутствовала удача. Эти золотые буллы она никогда не снимала, пряча их под одеждой.

Тот гнев, который она таила в себе, находясь в обществе других людей, часто прорывался наружу на женской половине дома, и причиной этих яростных вспышек чаще всего служила я. Ласковое прозвище «маленькая царица», которым меня называли многие, особенно раздражало мою мать, и вскоре в доме им почти перестали пользоваться. Говорила она со мной крайне редко, но, если я чем-то ее раздражала, могла внезапно на меня наброситься и ровным злым голосом твердить, что я глупа, тупа и уродлива, что я противная тихоня. «Ты меня боишься, — говорила она, — а я трусов ненавижу!» Порой одно мое присутствие доводило ее прямо-таки до бешенства. В таких случаях она запросто могла меня ударить или начать трясти так, что у меня чуть не отрывалась голова, мотаясь из стороны в сторону. Однажды в припадке злобы мать страшно исцарапала мне все лицо. Вестина сумела вырвать меня у нее, увести ее в спальню и как-то успокоить. Потом сразу поспешила ко мне и принялась промывать длинные кровавые борозды на моих щеках. Я была настолько ошеломлена, что даже не плакала, зато Вестина не могла сдерживать рыданий, смазывая мои раны целебным бальзамом.

— Ничего, шрамов не останется, — сквозь слезы приговаривала она. — Я уверена, что не останется.

— Вот и хорошо, — донесся из спальни спокойный голос матери, услышавшей ее причитания.

Вестина велела мне говорить всем, что меня исцарапала кошка. Так что, когда отец, увидев мое лицо, потребовал объяснений, я сказала:

— Это старая кошка Сильвии меня оцарапала. Она была у меня на руках, и я ее слишком крепко к себе прижала, тут мимо пробежала охотничья собака — кошка перепугалась и меня исцарапала. Она не виновата.

Я и сама почти поверила в эту историю — такое часто случается с детьми — и постепенно стала украшать ее всяческими подробностями и обстоятельствами; например, я будто бы была совсем одна, когда это случилось, гуляла в дубовой роще неподалеку от дома Тирра, а потом всю дорогу домой бежала бегом. И я все повторяла, что Сильвия и кошка ни в чем не виноваты. Мне совсем не хотелось навлекать на них гнев моего отца. Правители скоры на расправу, это их успокаивает.

Сильвия была моей лучшей, любимой подругой, мы с ней вместе играли; а ее старая кошка только-только произвела на свет целый выводок котят и пока еще их кормила, так что они без нее просто погибли бы. В общем, получилось, что я сама же и виновата в том, что у меня все лицо исцарапано. Но Вестина была права: ее мазь оказалась очень хорошей; длинные кровавые борозды затянулись, зажили, и на лице у меня не осталось никаких следов, кроме бледного серебристого шрамика под глазом на левой скуле. Однажды Эней, проведя пальцем по этому шраму, спросит меня, откуда он. И я скажу: «Это меня кошка оцарапала. Я ее держала на руках, а она испугалась собаки».

Я знаю, на земле будут и куда более могущественные правители, чем мой отец Латин, и куда более обширные царства, чем наш Лаций. Выше по реке на Семи Холмах* раньше были две небольшие крепости с земляными стенами, Яникул и Сатурний; затем туда пришли поселенцы из Греции, все перестроили и дали своему городу и крепости название Паллантеум. Мой поэт пытался описать мне это место, потому что знал его при жизни; впрочем, надо было бы сказать, будет знать при жизни, ведь он еще не родился, когда впервые явился мне, хоть и был

уже при смерти, а теперь его уже давным-давно нет на свете. Сейчас он среди тех, кто ждет на том берегу реки забвения. Он меня еще не забыл, но забудет, когда ему наконец придет пора родиться и переплыть эту молочно-белую реку. Когда я впервые возникну в его воображении, он еще не будет знать, что ему предстоит встретиться со мной в лесу Альбунеи. Но, так или иначе, он рассказал мне, что в будущем на том месте, где сейчас деревня Семь Холмов, и в прилегающих к этим холмам долинах по берегам реки на много миль раскинется невообразимо огромный город. На вершинах холмов появятся прекрасные храмы из мрамора с золотой инкрустацией, чудесные арки широких ворот, бесчисленные статуи из мрамора и бронзы; а через форум* этого города за день, по его словам, будет проходить больше народа, чем я за всю свою жизнь смогу увидеть во всех селениях Лация, на всех дорогах, на всех праздниках и полях сражений. И царствовать в этом городе будет величайший в мире правитель, и будет он настолько велик, что с презрением отринет звание царя, и его станут называть Августом, что значит «возвеличенный», «наделенный поистине священным могуществом». И все люди во всех странах будут склонять перед ним голову и станут платить ему дань. И я этому верю, поскольку знаю, что мой поэт всегда говорит правду, хотя, может, эта правда и не всегда является полной. Никто, даже поэт, не может знать о чем-либо всю правду.

Но в годы моего девичества описанный моим поэтом огромный город будущего был всего лишь жалким маленьким селением на склоне каменистого холма, заросшего густым кустарником, где было множество пещер. Я однажды побывала там с отцом — туда при западном ветре по реке примерно день пути. Тамошний правитель Эвандр*, наш союзник, когда-то бежал сюда из Греции, но и здесь у него тоже возникли большие неприятности — он убил гостя. У него, правда, имелись на то серьезные основания, но таких вещей наш народ не прощает и не забывает. Так что Эвандр был благодарен моему отцу за покровительство и благосклонность и очень старался развлечь нас,

своих гостей, но жил он куда беднее многих наших состоятельных крестьян*. А Паллантеум представлял собой маленькую крепость, окруженную темным частоколом и пристроившуюся в тени деревьев между широкой желтой рекой и лесистыми холмами. Греки, разумеется, устроили в нашу честь пир, забив быка и оленя, но еду подавали как-то очень странно: мы должны были лежать на скамьях у маленьких столиков, а не сидеть все вместе за одним длинным столом. Так было принято у греков. И они не ставили на стол священную соль и жертвенную пищу. И это в течение всего пира не давало мне покоя.

Сын Эвандра, Паллас, хороший мальчишка, был примерно моим ровесником, то есть в то время ему было лет одиннадцать или двенадцать. Он рассказал мне историю об огромном зверчеловеке, который жил неподалеку в одной из верхних пещер; в сумерки он выходил оттуда и воровал скот, а людей попросту разрывал на куски. Увидеть его, правда, было довольно трудно, но от его ножищ на земле оставались огромные следы. Зверчеловека убил греческий герой Геракл, оказавшись в этих местах, и я спросила у Палласа: «А как его звали, это чудовище?» — и он сказал: «Какус»*. Я прекрасно знала, что имя Какус означает «повелитель огня», что это вождь племенного поселения, что он, как и мой отец, поддерживает с помощью своих дочерей огонь Весты* для всех людей, живущих по соседству. Но мне не хотелось спорить и опровергать выдуманную греками историю о страшном чудовище, потому что она казалась мне куда интересней и увлекательней того, что было известно мне.

Паллас спросил, не хочу ли я посмотреть логово волчицы, и я сказала: еще бы, конечно! И он повел меня в какую-то пещеру, которая называлась Луперкал* и находилась совсем близко от их селения. По словам Палласа, там располагалось святилище бога Пана — так греки называют нашего праотца Фавна*. Так или иначе, поселенцы оставили эту волчицу и ее выводок в покое, что было весьма мудро, и она тоже не доставляла им ни малейшего беспокойства. Она даже собак их

никогда не трогала, хотя волки собак просто ненавидят. В этих лесистых холмах добычи у нее хватало — олени водились там в изобилии. Но весной волчица порой все же резала ягненка. Впрочем, греки считали это чем-то вроде жертвоприношения, и если все ягнята в отаре оставались целы, то в жертву волчице приносили собаку. Волк, отец ее волчат, куда-то пропал еще прошлой зимой.

Возможно, мы, двое детей, приняли не самое разумное решение, остановившись у входа в волчье логово, ведь волчица была там, внутри, с маленькими волчатами. В пещере было темно и сильно пахло зверем. И стояла полная тишина. Но когда глаза мои немного привыкли к темноте, я увидела напротив два маленьких неподвижных огонька — глаза волчицы. Она стояла, как бы отгораживая от нас своих детенышей.

Мы с Палласом медленно попятились назад, не сводя глаз с этих огоньков. Уходить мне не хотелось, хотя я понимала, что надо уйти, и поскорее. Наконец я повернулась и последовала за Палласом, но шла очень медленно и все время оглядывалась — я надеялась, что вдруг волчица все-таки выйдет из пещеры и будет стоять у входа, напряженно выпрямившись, гордая и свирепая лесная царица, любящая мать.

В тот раз я впервые поняла, что мой отец — куда более могущественный правитель, чем Эвандр. А чуть позднее я узнала, что Латин — самый могущественный из царей тогдашнего Запада, хотя даже он был всего лишь жалким царьком в сравнении с великим Августом, который должен был в далеком будущем появиться в этих краях. Задолго до того, как я родилась, мой отец создал свое государство, существенно расширив его за счет ведения войн и стойко защищая границы своих владений. За все время, пока я росла, не случилось ни одной войны, достойной внимания. Это был долгий период мира. Разумеется, бывали междоусобицы, да и крестьяне дрались между собой, возникали и отдельные столкновения на границах. Мы ведь довольно грубый народ, как у нас, на Западе, говорят, дети дуба*; нрав у нас горячий, оружие всегда под рукой. Моему

отцу вечно приходилось вмешиваться, улаживать очередную ссору между селянами, которая зашла слишком далеко или грозила превратиться в настоящую войну. Постоянной армии у отца не было. Марс живет на пахотных полях и межах между ними*. Если случалась беда, Латин призывал своих крестьян, и они приходили к нему со своих полей и пастбищ, вооруженные старыми бронзовыми мечами и кожаными щитами, принадлежавшими их отцам и дедам, и готовые насмерть биться за своего царя. Но, уладив очередную неприятность, они снова возвращались на свои поля, а он — в свой дворец.

Царский дворец, регия, считался главным святилищем города, ибо предки нашей семьи и наши домашние боги, пенаты и лары, охраняли не только регию, но и всех жителей Лация. Латины приходили сюда со всех концов страны, чтобы поклониться этим богам-хранителям и принести им жертву, а заодно и попить с царем. Наш дворец был виден издалека; окруженный высокими деревьями, он возвышался над всеми стенами, башнями и крышами города.

А стены нашего города Лаврента были высоки и мощны, поскольку он был построен не на вершине холма, как большая часть городов, а посреди плодородной равнины, полого спускавшейся к лагунам на песчаном морском берегу. Вокруг простирались пахотные поля и пастбища, начинавшиеся сразу за крепостным рвом и земляным валом, а перед городскими воротами было просторное поле, ристалище, где упражнялись атлеты, где обучали верховых лошадей и устраивали всевозможные соревнования. Но стоило войти в ворота Лаврента — и после жаркого солнца и иссушающего ветра вы оказывались в глубокой благодатной тени, ибо наш город являл собой как бы огромную рощу, почти что лес. Каждый дом был окружен дубами, фиговыми деревьями, вязами, гибкими тополями и зарослями лавра. Узкие улицы тоже были зелеными и тенистыми. Самая широкая улица вела к царскому дворцу, просторному, высокому зданию, особое величие которому придавали сто колонн из кедровых стволов.

Справа и слева от входа вдоль верхнего края стены тянулся выступ, где красовались резные фигуры, созданные и подаренные царю одним ссыльным этруском. Это были изображения наших великих духов и прародителей — двуликого Януса*, Итала*, Сабина*, прадедушки Пика, который, правда, потом превратился в красноголового дятла, но его статуя в застывшей резной тоге, со священным посохом и щитом в руках по-прежнему находилась в двойном ряду мрачноватых фигурок из потрескавшегося и почерневшего кедра. Небольшие эти фигурки были единственными в Лавренте изображениями богов в человеческом обличье, если не считать маленьких глиняных пенатов, и всегда наполняли мою детскую душу страхом. И я часто закрывала глаза, пробегая мимо, чтобы не видеть их длинных темных ликов с неподвижными открытыми глазами, их боевых топоров и украшенных гребнями шлемов, их копий и дротиков; не хотелось смотреть мне и всевозможные военные трофеи — запоры от городских ворот, носовые украшения судов, — развешанные на стенах коридора, ведущего в атрий, главное помещение нашего дома, просторное, темноватое, с низким потолком, в центре которого имелось отверстие, и в него было видно небо. Налево от атрия помещались зал советов и пиршественный зал, куда я в детстве заходила крайне редко, а дальше — царские покои; прямо перед входом был алтарь Весты, сразу за ним — кладовые со сводчатыми потолками и кирпичными стенами. Войдя в атрий, я сворачивала направо и пробегала мимо кухонь в просторный центральный двор, где под лавровым деревом, которое еще в юности посадил мой отец, бил фонтан; там в больших горшках росли лимонные деревца, душистый волчеягодник, чабрец, душица и эстрагон; там любили сидеть за работой наши женщины, там они пряли, вязали, мыли кувшины и миски в бассейне фонтана. Я, лавируя меж ними, пробегала через двор, затем по портику с колоннами из кедра и оказывалась в женской половине дома, самой лучшей его части.

Если я была достаточно осторожна, чтобы не привлечь внимания матери, то там мне бояться было нечего. Хотя порой — уже когда я начала превращаться в девушку — мать разговаривала со мной даже ласково. На женской половине многие женщины всем сердцем любили меня; были, впрочем, и такие, которые мне просто льстили; а еще там была старая Вестина, которая меня откровенно баловала, и девочки, с которыми я дружила и чувствовала себя обыкновенной девчонкой, и малыши, с которыми я обожала играть... Но главное — как на мужской, так и на женской половине нашего дома, — я всегда чувствовала: это дом моего отца, а я его дочь.

Однако моей ближайшей подругой была не девочка из царского дворца, а младшая дочь скотовода Тирра, главного смотрителя царских стад. Его обширное хозяйство находилось примерно в четверти мили от городских ворот; помимо множества хозяйственных построек и загонов для скота, там был просторный сельский дом, построенный из камня и бревен и возвышавшийся среди сараев, амбаров и кладовых, точно пастух среди гусиного стада. Хлева, загоны для скота и пастбища начинались сразу за огородами и уходили вдаль, прячась среди невысоких, заросших дубами холмов. Здесь вечно кипела работа; люди трудились день и ночь; с другой стороны, если в горне на кузнице не горел огонь и оттуда не доносился перестук молотков или если на двор не пригоняли очередное стадо, чтобы кастрировать бычков или гнать животных на рынок, все здесь прямо-таки дышало глубоким покоем и тишиной. А мычание коров где-то в долине и неумолчное воркование голубей под крышей и горлинок в дубовых рощах служило неким приятным фоном, в котором словно тонули все прочие шумы и звуки. Я очень любила бывать в поместье Тирра.

Сильвия иногда тоже приходила ко мне в регион, но все же обе мы предпочитали играть возле ее дома. Летом я бегала туда почти каждый день. Со мной отправлялась Тита, наша рабыня года на два старше меня; она играла роль моего «телохранителя», как того требовал мой статус

царской дочери и девственницы. Но как только мы туда приходили, Тита присоединялась к своим тамошним подружкам, а мы с Сильвией убегали из дому в лес; лазили по деревьям, строили на ручье плотины, играли с котятками, ловили головастика или просто бродили по окрестным холмам, вольные, как воробы.

Мать, конечно же, заставила бы меня сидеть дома. «Что это за приятели она себе выбирает! Какие-то пастухи!» Но мой отец, царь и потомок царей, даже внимания на ее снобизм не обращал. «Пусть девочка бегает на свободе, крепче будет. А люди это хорошие», — говорил он. И действительно, Тирр был человеком очень надежным, знающим, и управлял он своим хозяйством столь же твердо и уверенно, как мой отец — всем Лацием. Нравом он, правда, обладал весьма горячим, но со своими людьми всегда обходился по справедливости и праздники всегда отмечал очень щедро: устраивал пиры, совершал жертвоприношения, почитал богов, местных духов и святые места. Когда-то давно, во время войн, предшествовавших моему рождению, Тирр сражался бок о бок с моим отцом, да и сейчас в его облике по-прежнему было нечто воинственное. Но в том, что касалось его дочери, он неизменно был мягок, как масло. Мать Сильвии умерла вскоре после ее рождения, сестер у нее не было, одни братья. Она росла всеобщей любимицей, отец, старшие братья и все в доме ее обожали. И, пожалуй, во многих отношениях скорей уж она, а не я была настоящей царевной. Ее никто не заставлял часами прясть или ткать, никто не обязывал ухаживать за алтарями богов и отправлять ежедневные обряды. На кухню, где трудились старые повара, Сильвия и носа не показывала; домом занимались надежные слуги; девушки-рабыни прибирали вместо нее очаг Весты и поддерживали в нем огонь; в общем, свободного времени у нее было сколько угодно, и она могла хоть целыми днями бегать по холмам и играть со своими ручными питомцами, четвероногими и пернатыми.

С животными Сильвия ладила просто замечательно*.

Вечерами маленькие совки прилетали на ее дрожащий зов «бу-у-у» и даже садились ненадолго ей на руку. Она приручила лисенка, а когда тот вырос, отпустила его на волю. Но та лисица, даже став взрослой, каждый год приводила к нам свой выводок, чтобы мы посмотрели, как ее детеныши играют в сумерках на траве под дубами. Потом Сильвия вырастила олененка, которого привезли ей с охоты братья. Его мать затравили гончие псы. Самой Сильвии было тогда лет десять или одиннадцать. Она нежно и заботливо ухаживала за малышом, и вскоре он превратился в великолепного красавца-оленя, ручного, как собака. Он каждое утро убегал в лес, но к ужину всегда возвращался; члены семьи позволяли ему входить в дом и есть прямо из их тарелок. Сильвия своего Кервула обожала. Она его мыла, расчесывала ему шерсть, осенью украшала его великолепные рога побегами хмеля, а весной — цветочными гирляндами. Самцы оленей могут быть порой довольно опасны, но Кервул обладал на редкость кротким и ласковым нравом и был, пожалуй, даже чересчур доверчив. Сильвия повязывала ему на шею широкую белую ленту, чтобы все знали, что этот олень ручной, и все охотники в лесах Лация издали узнавали ее Кервула. Его знали даже гончие псы и редко гнались за ним, поскольку их за это бранили и даже били.

До чего же это было чудесно — видеть, как тебе навстречу из леса спокойно выходит великолепный олень, гордо неся украшенную ветвистыми рогами голову! Подойдя ближе, Кервул обычно опускался на колени и утыкался носом Сильвии в руку, а потом, подогнув свои длинные стройные ноги, сворачивался на земле между нами, а его хозяйка ласково почесывала и поглаживала ему шею. От него исходил приятный сильный запах дикого зверя. Глаза у него были большие, темные и спокойные; в точности как и у Сильвии. Именно так, по словам моего поэта, и жили люди и животные во времена Сатурна*, в золотой век, в самом начале времен, когда в мире еще не существовало страха. Сильвия казалась мне истинной дочерью этого золотого века. Сидеть с нею на залитых солнцем

склонах холма или бегать по лесным тропинкам, которые она так хорошо знала, было для меня самой большой отрадой. Казалось, во всей этой большой стране, стране нашего детства, нет никого, кто пожелал бы нам зла. Обитатели пагов*, крестьяне-земледельцы, приветствовали нас, работая в поле или сидя на пороге своих округлых хижин. Хмурый пасечник всегда оставлял для нас свежие медовые соты. У молочниц всегда можно было выпить кружечку-другую сливок; пастухи развлекали нас, демонстрируя разнообразные приемы верховой езды, в том числе и на бычках, или прыгая через голову старой коровы с огромными рогами; а старый Ино научил нас делать свирельки из стеблей овса.

Иногда летом, когда долгий день начинал клониться к вечеру и мы понимали, что скоро пора возвращаться домой, мы с Сильвией ложились ничком на склон холма, уткнувшись носом в жесткую сухую траву и комковатую пересохшую землю, и вдыхали невероятно сложное переплетение всевозможных ароматов, в котором различались сладкий запах сена и горький запах земли, нагретой летним солнцем, — нашей земли. В эти мгновения мы обе чувствовали себя истинными дочерьми Сатурна. Потом мы дружно вскакивали, сбегали с холма и мчались домой — скорей, скорей к скотному броду!

Когда мне исполнилось пятнадцать, к моему отцу с государственным визитом прибыл царь Турн. Турн был моим двоюродным братом, племянником моей матери; его отец Давн, страдая от жестокого недуга, примерно год назад передал ему бразды правления Рутулией, и мы слышали, какую пышную церемонию устроили по этому поводу в Ардее, ближайшем к нам крупном городе, расположенном к югу от Лация. Рутулы были нашими ближайшими союзниками с тех пор, как Латин женился на сестре Давна Амате, но молодой Турн проявлял явные признаки того, что впредь намерен идти своим путем. Когда этруски из города Цере изгнали своего тирана Мезенция, свирепого и жестокосердного правителя, для которого не было ничего святого, Турн принял его у себя и дал ему

кров, вызвав этим гнев всей Этрурии. Ведь этот тиран столь страшно злоупотреблял своей властью, что от него отреклись даже лары и пенаты его родного дома. Неприязненное отношение к Турну вызывало у латинов постоянное беспокойство, поскольку Цере находился совсем рядом, за рекой. Города этрусков были весьма могущественны, и нам следовало по мере возможности поддерживать с ними добрососедские отношения.

Отец рассказывал мне об этом по пути в Альбунею, в священный лес, находившийся к востоку от Лаврента у подножия гор. До этого леса был примерно день пути пешком, и мы с отцом не раз ходили туда. Я помогала ему отправлять обряды, во время которых он воздавал хвалу богам, нашим предкам и духам леса и водных источников, пытаясь умиловить их с помощью жертвоприношений. Во время наших походов туда Латин разговаривал со мною, как со своей наследницей. Хотя я и не могла унаследовать его корону, он не видел причины оставлять меня в неведении относительно основных принципов политики и управления государством. В конце концов, я почти наверняка должна была стать царицей какой-нибудь страны. И, вполне возможно, действительно Рутулии.

Отец, правда, подобную возможность со мной не обсуждал, а вот женщины у нас в доме только и делали, что судачили об этом. Вестина, например, услышав о приезде царя Турна, сразу заявила:

— Он едет за нашей Лавинией! Он едет свататься!

Моя мать остро глянула на Вестину поверх большой корзины с нечесаной шерстью, которую мы перебирали. Перебирать шерсть, вытаскивая из нее комки грязи и колючки и разбирая свалявшиеся после мытья пряди, мне всегда нравилось больше многих других домашних дел; это было нетрудно и совершенно не требовало умственных усилий, зато чистая шерсть пахла так приятно, а руки становились такими мягкими от овечьего жира, еще оставшегося в шерсти. Особенно приятно было, когда перебранная шерсть прямо у тебя

под руками превращалась в чудесные облака, воздушные и пушистые, с трудом умещавшиеся в огромной корзине.

— Ну, довольно болтать! — рассердилась вдруг Амата. — Только у крестьян принято вести речи о замужестве, когда девочке всего пятнадцать лет!

— А говорят, он самый красивый мужчина во всей Италии, — тихонько заметила Тита.

— И ездит верхом на таком бешеном жеребце, с которым больше никому не совладать, — прибавила Пикула.

— И волосы у него золотые, — не выдержала Вестина.

— А еще, говорят, у него есть сестра Ютурна, такая же красивая, как и он, только она дала обет никогда не покидать реку-отца, — сказала Сабелла.

— Вот глупые гусыни! — опять рассердилась моя мать.

— А ведь ты, царица, должно быть, знала его еще ребенком? — спросила Сикана, любимая прислужница матери.

— Да, знала, — ответила Амата. — Он был очень милым мальчиком, но чересчур своенравным. — И она даже слегка улыбнулась — она часто улыбалась, рассказывая о своем детстве и о родном доме.

Я поднялась на сторожевую башню, высившуюся над юго-восточным углом регии, как раз над царскими покоями; оттуда были хорошо видны улицы города и пространство за городской стеной и воротами. Увидев, как в ворота въехали гости и стали подниматься по улице к царскому дворцу — все верхом на конях, в сверкающих доспехах, покачивая высокими гребнями шлемов, — я мигом спустилась с башни и бегом бросилась в атрий; и там, спрятавшись в толпе домашних слуг, стала смотреть, как мой отец приветствует Турна. Я с любопытством разглядывала и его самого, и его людей, и его высокий шлем, украшенный султаном. Турн был на редкость хорош собой, отлично сложен и мускулист; у него были выющиеся рыжевато-каштановые волосы, темно-голубые глаза и горделивая повадка. Единственный небольшой недостаток — это, пожалуй, его относительно небольшой рост при весьма крепком